

Через десять минут концертное отделение началось «гимном», который нестройно исполнил маленький хор.

Три первых номера прошли благополучно. На четвертом вспыхнул грандиозный скандал.

На сцене появилась наряженная девица в костюме, состоявшем из смеси французского с нижегородским.

— Мелодекламация,—объявил, любезно улыбаясь, конференсье.

Аккомпаниатор дал звучный аккорд, и девица грянула известную «Песню маркитантки» Генриха Гейне.

В начале четвертого куплета опять в тех же патристических передних рядах началось заметное движение.

Пятый куплет начать не дали.

Несколько человек, повидимому, приказчиков и лавочников, повскакали с мест.

— Долой!..

— Это оскорбление!

— Мы не позволим!

— Немецкая песня! Долой!

В зале кто-то громко свистнул в кулак, как разбойник из-под моста.

Маркитантка с побледневшим под пудрой лицом юркнула за кулисы под яростное улюлюканье разнузданной публики.

К рампе засеменил на своих коротких ножках расторопный конференсье и многозначительно вытянул вверх палец.

— Почтеннейшая публика!

Крикуны утихли, но не сели.

— Господа! Мы вполне согласны с вами, что в великие нынешние дни, когда все силы государства нашего на-



правлены на борьбу с немцами, в эти великие дни не следует выносить на сцену произведения немецких авторов. Но какой же Гейне немец?

Ведь Гейне же всего-на-всего — гамбургский еврей. Ведь он же и не жил в Германии вовсе, так как был изгнан из нее за политические взгляды.

Ведь Гейне же жил и умер в Париже, он и женат был на француженке. Господа!..

Центр зала ответил взрывом жидких аплодисментов. Передние ряды были посрамлены и позорно спасовали. Честь Гейне была восстановлена.

Какой-то толстяк во фраке добродушно махнул пухлой рукой и под смех публики крикнул конферансье.

— А, ну, коли так, то валяйте с богом: мы ничего... Послушаем, только чтобы без обману.

Обрадованный примирением, конферансье послал уважаемой публике воздушный поцелуй и скрылся за кулисы.

На сцену опять грациозно выпорхнула злополучная маркитантка и закончила свой номер под дружные аплодисменты.

\*

Когда ефрейтор и унтера не в духе, наш лагерь в обеденный перерыв и в предположительный час отдыха превращается в форменный сумасшедший дом.

Одни ходят гусиным шагом вдоль конюшни, поминутно падая от усталости и бормоча проклятия.

Другие бегают вокруг конюшни, вокруг палаток с фуражками, с ремнями, с котелками, с кружками, с портянками, с носками, с сапогами в зубах.



Это провинившиеся, отдавшие по ошибке без фуражки честь, не вычистившие до блеска сапог, клямора, пуговиц, не вымывшие кружки.

И все эти арлекины с портянками и котелками в зубах, бегая на рысях вокруг палаток, как на корде, стараюсь перекрычать друг друга, воют:

— Я—дурак! Я—дурак! Я—дурак!

— Вот как чистят клямор! Вот как чистят клямор!

— Я—балда! Я—балда!

— Я—баба! Я—баба!

— Я—гусак! Я—гусак!

— Я—квач! Я—квач!

Взводные, которые завели эту адскую шарманку, сидя где-нибудь в тени, покуривают папироски, улыбаются и хвастают каждый своим взводом.

Хвастают друг перед другом своей изобретательностью по части издевательства над подчиненными им людьми.

Одевшись в штатское платье, целый день бродил по Петербургу.

Встретил бывшего однокурсника Андреевского. Он заделался в земгусары. На оборону работает.

Я плохо знаю Петербург. Андреевский, как старый питерец, показывает мне достопримечательности города. Достопримечательного мало.

Общественно-политическая жизнь замерла. Опьянение войной возрастает.

Все и вся работает на «оборону».

Оборона — самое модное слово 1914 года.



На «обороне» наживают состояния...

Петербургские театры, кино, эстрады, цирки повернулись «лицом к фронту». Они тоже «работают на оборону»

Немцев ругают и профессора, и уличные проститутки и нотариусы, и кухарки, и лакеи, и «писатели», и водовозы.

Петербургские немцы чувствуют себя, вероятно, так же, как здоровый человек чувствует себя среди прокаженных. Скверное самочувствие!

Андреевский рассказывал, что в первые недели войны в Петербурге полиция организовала немецкие погромы.

У немцев вспаривали перины, выпускали пух, выбрасывали из квартир в окна на мостовую пианино, мебель, книги, картины. Знакомая картина еврейских погромов..

Возвращался в лагери в обществе молодого солдата Фомина. Умный, грамотный парень с тусклыми печальными глазами.

Фомин ругал Петербург.

— Чтоб ему ни дна, ни крышки! Это не город, а чорт знает что! Хотел проехать на трамвае — не пускают, потому что я нижний чин. «Садись на площадку». А она облеплена солдатами, попробуй, сядь на нее. Вагон идет пустой, а в него нельзя. Пошел пообедать в столовую — «нельзя». «Почему, — спрашиваю, — нельзя?» — «Нижний чин. Нижним чинам не велено отпускать обедов». Пошел в кино — опять, «нельзя». Направили в какой-то специальный кинематограф для нижних чинов. Сунулся в парк отдохнуть — тоже не пускают. Что тут делать? Куда же идти нашему брату? Нигде нельзя, только в публичный дом дорога солдату открыта. Только там не глядят на погоны и не спрашивают паспорта. На уроках



словесности нам говорят: родина — наша мать. Хороша мать. Ни одна мачеха не относится так к своему пасынку, как наше государство — к солдату.

Помолчав немного, Фомин спросил меня:

— Скажите, пожалуйста, у немцев такие же порядки или лучше?

Я ничего не мог сказать.

•

На уроках словесности изучаем не только уставы, но и закон божий. Нам зачитали катехизис Филарета.

Взводный спрашивает.

— Что говорит шестая заповедь?

Мы должны отвечать:

— Не убий.

И дальше:

— Никогда нельзя убивать?

— Никак нет. Можно в двух случаях.

— В каких?

— В случае войны, сражаясь за веру, царя и отечество, можно убивать неприятеля; а также внутренних врагов — бунтовщиков и преступников по приговору судов.

— Значит такое убийство бог разрешает и прощает?

— Так точно.

— Может ли солдат убить своего начальника?

— Никак нет.

— Может ли начальник убить солдата без суда?

— Так точно. Может.

— В каких случаях?

— В случае надобности.

— Укажите примеры этой надобности.



— Ежели солдат откажется идти в наступление на фронте или расстреливать бунтовщиков, офицер имеет право убить солдата.

— Значит такое убийство законом божьим разрешается?

— Так точно.

— Может ли мужик убить урядника?

— Никак нет.

— Может ли урядник убить мужика?

— Так точно, в случае надобности.

— Укажите примеры надобности.

— Когда мужик не исполняет закон или нападет на урядника.

— Значит все убийства подобного рода не будут противоречить учению православной христианской церкви?

— Так точно.

\*

Подал рапорт с просьбой об отправке на фронт с первой маршевой ротой.

Я не сочувствую войне. Ненависти в сердце не имею ни против немцев, ни против австрийцев.

Зачем же еду на фронт?

Этого я объяснить сам себе толком не умею.

Кажется, меня влечет на фронт любопытство. Хочется видеть войну воочию.

И вот я, не приемля войны, ненавидя ее, прошу как можно скорее отправить меня на фронт.

\*



Едем на фронт.

Прощай, Петербург! Прощай и ты, казарма — кавалерийская конюшня под Красным Селом, служившая нам спальней и столовой.

Прощай, молчаливая и безучастная свидетельница нашего унижения и бессилия.

Под сводами твоих покосившихся, грязных, покрытых паутиной стропил ходили мы на потеху унтерам гусиным шагом, стояли часами под «ранцем», под «винтовкой» с полной боевой выкладкой, называли сами себя дураками и ослиами.

Прощай!.. Если мы вернемся сюда когда-либо с фронта живыми, то нас уже не заставят вертеть головами справа налево до обморока, не погонят гусиным шагом, не заставят ходить по струнке.

Мы вернемся другими...

Пришла уже смена. Она приняла от нас учебные винтовки и патроны.

Ясный осенний день.

Красноватое солнце играет матовыми отблесками на крышах домов, на позолоченных куполах соборов.

Нас провожают на вокзал с музыкой, хотят поднять у нас настроение.

Музыканты старательно выдувают в трубы старенькие избитые марши, с которыми русские войска ходили еще на турок.

Этим маршам грош цена. Но идти под них легко и приятно.

На вокзале уезжающих с нами офицеров качают.



Элегантно одетые дамы любовно преподносят им огромные букеты цветов.

Настроение у всех приподнятое, конечно, искусственно приподнятое.

За полчаса до отхода поезда к перрону подкатил новенький с иголочки санитарный поезд с ранеными. Музыка смолкла. Засуетилось вокзальное начальство. Вытянулись и стали приторно-постными лица провожающих.

Вереницей потянулись носилки с тяжело ранеными. Легко раненые идут сами. Бледные, лиловые лица серьезные и неподвижные.

Это—первая «продукция» войны, которую мы видим так близко.

Вид распростертых на носилках тел, укутанных окровавленной ватой и марлей, порождает тяжелое, неприятное чувство.

Наши все ступшевались, притихли и смотрят на раненых.

На побледневших лицах тревога. Частную публику оттеснили на почтительное расстояние.

А носилки с искалеченными телами все плывут и плывут. Изредка воздух пронизывают стоны.

Последний звонок.

Провожающие кричат нам вслед недружно и жидко: «Ура!»

Анчишкин и Граве поместились в соседнем вагоне. Сознательно не сел с ними. Пропасть между нами становится все шире и шире. Говорим на разных языках.

\*



«Мы едем от жизни к смерти».

Эту фразу на маленькой станции бросил мимоходом юный подпоручик. Его товарищ, высокий капитан Трубников, деланно рассмеялся и сказал:

— Остроумно! Одобряю.

Едем с тою же скоростью, с какой ехали новобранцами в Петербург.

Те же телячьи вагоны, те же люди.

Но какой поразительный контраст!

Нет ни одной гармошки, ни одного пьяного.

Я не узнаю людей, с которыми ехал так недавно в Петербург.

От веселой, бесшабашной удалы не осталось следа.

Забиты, замуштрованы до последней степени.

В неуклюжих шинелях, в казенных уродливых фуражках и сапогах—все как-то странно стали похожи один на другого.

Личное, индивидуальное стерлось, растаяло.

Поют исключительно солдатские песни, и в песнях этих нет того, что принято называть душой.

Песни не берут за живое.

\*

Чем дальше отъезжаем от Петербурга, тем легче становится дышать.

Лениво бегут навстречу сумрачные дали полей. Точно из-под земли поднимаются седые овалы бугров, перелески.

Громохая сотнями тяжелых колес, поезд неуклонно несет нас в бескрайние дали, где обреченным на смерть спрутом залегла в земляных траншеях многомиллионная армия.



Скоро увидим, узнаем все, все. Волнующая неизвестность станет явью.

Атмосфера муштры как-то заметно разряжается. Даже неизменная «Соловей, соловей, пташечка» не режет слуха.

Хмурые лица солдат просветлели.

С нашим эшелоном едет много офицеров. Большинство — новоиспеченные прапорщики.

Нежные, женственные лица. Выглядят гораздо моложе своих лет.

У всех новенькие хорошо пригнанные шинели. По сравнению с прапорщиками солдаты кажутся огородными пугалами для терроризирования галок и воробьев.

Прапорщики часто заходят на остановках в солдатские вагоны.

Знакомятся и «сближаются» с «серой скотинкой». Это им необходимо.

Отношение их к нижнему чину так необычно по сравнению с тем, что мы видели в казарме.

Солдаты смущаются, на вопросы прапорщиков отвечают односложным дурацким:

— Никак нет.

Ничего не добившись, прапорщики разочарованно уходят в свой вагон. Между ними и солдатами — пропасть.

Все чаще и чаще попадают «следы войны».

На каждой станции встречаем санитарные поезда с ранеными и больными.

Из окон санитарных вагонов выглядывают землистые, белые, как носовой платок, лица с ввалившимися глубоко глазами.



И в этих усталых глазах, оттененных траурной рамкой подозрительной синевы, переливается тупое безразличие ко всему происходящему.

У каждого своя боль, свои раны, свои думы.

Жадно расспрашиваем обо всем. Большинство отвечает неохотно, скупо, как-будто они уже тысячи раз все это рассказывали и им смертельно надоело.

Все пути на станциях забиты воинскими эшелонами. Кругом, куда ни глянь, все одно и то же: снаряды, колючая проволока, орудия, защитные двуколки, тюки прессованного сена, кули овса, ящики консервов, быки, бараны, лошади.

Вся эта масса разнородных ценностей непрерывной рекой стекает в ненасытную пасть фронта, чтобы перевариться в нем и превратиться в ничто.

Солдаты, обозревая метким хозяйственным мужицким взглядом поезда и склады с «добром», удивленно восклицают:

— Эх, сколько добра погниет!..

— Ну и прорва этот хронт, язви его бабушку!..

На станциях все комнаты забиты военными. Масса юрких «посредников» между фронтом и тылом.

Они охотно рассказывают о победах и поражениях нашей армии.

На каждой станции в буфетах—облака табачного дыма и разговоры о войне.

Вся страна играет в солдатики.

На перронах разгуливают целыми группами сестры милосердия.

Сестры отчаянно кокетничают с офицерами, поставщиками, земгусарами и интендантами.



Быстро знакомятся. Вслух, во всеуслышание объясняются мужчины в любви.

Война «демократизирует», упрощает отношения людей.

Отношения между полами тоже «упростились».

\*

Застряли на маленькой станции. Говорят, дальше поезда не идут. Двигаемся пешком. До фронта около ста километров.

Явственно слышны раскаты горных орудий.

На этой станции за два часа до нашего приезда был воздушный бой.

Немецкие аэропланы сбросили несколько бомб.

Повреждено много товарных вагонов. Разбит санитарный вагон с ранеными.

Обломки разобрали, людей унесли, на месте катастрофы осталось большое кровавое пятно.

Это первое пятно, которое мы видели.

Люди были погружены в вагон, перевязаны, с минуты на минуту ожидали отправки в тыл, должны эвакуироваться и... эвакуировались совсем в другом направлении.

На запасном пути среди обломков вагона лежит убитый смазчик. Его санитары забыли. Лежит, неестественно согнув под себя лохматую рыжую голову. На него никто не обращает внимания. Около него лужица крови и жестянка с маслом.

\*\*

На маленькой станции стоим уже два часа. Подозрительно долго.



В вагоны влезает ходивший в буфет высокий, коренастый, с конусообразно усеченным подбородком Голубенко.

Люди говорить—в обратну сторону поидемо.

— Почему?

— Турци войну нашему царю объявили. На турецкий хронт, кажут, отправлять теперь уси шалоны велено.

Вагон замер в испуге, в изумлении, в любопытстве, в неясности.

Кого-то прорвало: —

— Буде брехать, злыдень поганый!

— Вот-те крест! В газете писано: турци на нас попли.

К газете тянутся нетерпеливые руки.

Рыжеусый ефрейтор внятно читает манифест Николая оттиснутый жирным шрифтом на первой странице:

«Предводимый германцами турецкий флот осмелился вероломно напасть на наше Черноморское побережье.

Вместе со всем русским народом мы непреклонно верим, что нынешнее безрассудное вмешательство Турции в военные действия только ускорит роковой для нее ход событий и откроет России путь к разрешению завещанных ей предками исторических задач на берегах Черного моря...»

Смысл этих «исторических задач» ясен: Россия, по мнению царя, должна отхватить Дарданеллы, а может быть, и самый Константинополь...

Вагон гудит в пересудах, в спорах, в ругани, в догадках и предположениях.

Говорю об этом с Граве.

— Слышали? Читали?

— Про турок?



— Да.

— Читал.

— Ну, как реагируешь?

— Никак. Меня это не удивляет ничуть. Надо удивляться только тому, что турки слишком долго не выступали. Турция — исконный враг России.

Станционный колокол бьет к отправлению. Два звонка. Все занимают свои места.

— Куда же едем: вперед или назад? — спрашивает кто-то из угла.

— А бис его батьку знае! Нам все одно: што немцев бить, што турок.

— А где паровоз прицеплен: спереду аль сзади?

— Спереду.

— Значит, на немцев едем.

— А как же турки?

— Да ну-те к лешему с твоими турками! Вот пристал, лихоманка!

Поезд трогается.

Во всех углах вагона плетутся нити разговора о турках.

•

Высадились из вагонов в густую темень осенней ночи и, построившись в колонны по отделениям, двинулись в сторону фронта по укатанному широкому шоссе.

Ночь темная. Дорога незнакомая. Не видно ни зги. Идем совсем не так, как учили в Петербурге. Не даем ногу, не оттягиваем носка. Идем обыкновенным человеческим шагом. Вся премудрость шагистики, за которую драли уши, оказывается здесь ненужной.

Штаб-офицеры едут на лошадях.



Обер-офицеры идут вместе с нами пешком. Разница между нами и ими в том, что они идут налегке, с пашкой и револьвером, а мы тащим винтовки, боевую выкладку и свой багаж. В общей сложности у каждого из нас по тридцать два килограмма. Начальник команды, подполковник Алеутов, командует:

— Песенники, на середину!

— Запевай!

И песня, вылетая из сотен солдатских глоток, играет в свежем похолодевшем воздухе осенней ночи.

— Взвейтесь, соколы, орлами...

Полно горе горевать...

То ли дело...

тянут тенора.

— То-л-ли дело под шатрами...

нажимают басы.

И все вместе подхватывают:

— В поле лагерем стоять.

Под песню, как под музыку, легче идти, даже на явную смерть.

Небо плотно нахлобучило на нас свою черную влажную шапку. Не видно ни одной звездочки.

Темнота поглотила все.

Идем ощупью, точно в бездну опускаемся. Часто падаем. Падающего, по евангельскому закону, поднимаем.

Пушки ухают реже. Через трое суток мы будем в окопах.



## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Война. Стоит мне подумать об этом слове, и меня охватывает ужас, как-будто мне говорят про колдовство, инквизицию.

*Гюи де Мопассан*

С наступлением глубокой осени полевая война временно кончилась. Кончились обходы, походы, молодецкие рейсы в тыл противника. Началась война окопная — «борьба за укрепление позиций».

Погода стоит переменная. Сегодня ударит мороз, крепко закует все лужицы и ручьи. Свяжет дыхание. Хрустальным звенит в дубняке лед сбиваемых ветром сосулек. А назавтра хватит сырая оттепель, расквасит и лед и снежный покров, разводя крутом бездорожье, непролазную лишнюю грязь.

Угоразило купить в Петербурге легкие «щегольские» сапоги. Казенные я подарил. Сапоги малы, с носками не влезают. Приходится надевать их с тонкими портянками и ночью в окопе выплясывать по очереди все русские сольные танцы.

Окопная война — скучная вещь.

Неприятеля не видно. Но каждую минуту нужно быть наготове.

Расстояние от наших окопов до немецких около ста шагов, местами доходит до пятидесяти.



В десяти шагах от брустверов расположены наши секреты.

В секрете ночью сидит десять человек.

Из секрета в сторону немцев наши grenадеры бросают ручные бомбы.

Ночью по окопам перекачивается беспорядочное эхо ружейной трескотни. Пулеметы и пушки таинственно молчат. Они, как тяжеловесы-бойцы в кулачном бою, ввязываются в дело только в критические моменты.

Немцы палят по нашим окопам, дабы мы не высовывали за бруствер голов и не напали на них невзначай.

Мы палим в немцев из тех же резонных соображений..

Палим, как и они, безрезультатно, в «белый свет».

На других участках, где расстояние между окопами больше, спокойнее.

Близость друг к другу нервирует обе стороны.

В нашем полку каждая рота выпускает за ночь сотни цинков патронов<sup>1</sup>.

Жарко дышит ствол раскаленной винтовки. Нагревается и чадит деревянная накладка. В холодную погоду можно греть на винтовке руки...

Затворы, загрязненные налетом газов, отказываются работать. Чтобы открыть затвор, бьем по нему камнями, лопатками, топорами.

Потери от всей этой баталии ничтожны. У нас за ночь выбывают из строя два—три человека из роты.

Это от рикошетных пуль и осколков ручных гранат.

У немцев потери, наверное, не больше, чем у нас.

---

<sup>1</sup> Цинка—триста патронов.



Мои московские однокашники прислали мне посылку. Небольшой ящичек печенья и конфет.

На дне ящичка сюрприз: в листе старой газеты — прокламация.

### «Т о в а р и щ и !

— Уже четыре месяца идет война. Миллионы рабочих и крестьянских рук оторваны от работы...

Уже четыре месяца длится вакханалия человеконенавистничества и злобного национализма.

Буржуазные правительства посредством продажной прессы всеми силами стараются одурачить народные массы, прикрывая истинный смысл войны фразами о борьбе с милитаризмом и национальным гнетом.

Но время идет и уже нужен злой умысел, чтобы не видеть, что поднятая война, всей тяжестью легшая на плечи трудового народа, ведется не в целях освобождения.

Смешно думать, чтобы царское правительство, угнетающее не один десяток национальностей, поработившее Польшу, Финляндию, чтобы это правительство взяло на себя освобождение других стран.

Истинный смысл войны заключается в борьбе за рынок, в грабеже стран, в стремлении одурачить, раз'единить пролетариев всех стран. Из-за барьеров, из-за прибыли капиталистов разразилась эта ужасная война.

Династии Бельгии, России, Сербии, Англии, с одной стороны, и династии Германии и Австро-Венгрии — с другой, в круговороте раздуваемого им национализма не упускают своих выгод и прочно чинят свой пошатнувшийся трон.

Народным массам эта война несет гнет и нищету.



В сознании всей гибельности этой войны русская социалдемократия не могла не объявить войны войне и не выступить на борьбу с шовинизмом и с русским царизмом.

И царское правительство начало расправляться с оставшимся верным себе течением.

Расточая сладкие слова по адресу буржуазии Польши, Галиции, своими грязными азефовскими руками оно арестовало всю рабочую социалдемократическую фракцию государственной думы.

И мы, социалдемократы, оставаясь под прежним знаменем интернационального братства рабочих, призываем демократию России встать против войны, грозной своими последствиями, против царского монархического шовинизма и его софистической защиты русскими либералами.

Нашей задачей в настоящее время должна быть всесторонняя, распространяющаяся и на войска пропаганда социалистических идеалов и необходимости направить штыки не против своих братьев, наемных рабов других стран, а против реакции русского правительства.

Пусть борьба капиталистов... за право большей эксплуатации народов заменится гражданской войной этих народов за свое освобождение.

Да здравствует учредительное собрание!

Да здравствует демократическая республика!

Да здравствуют РСДРП.

*Группа организованных социалдемократов».*

\*

Иногда наши «артисты» дают представление.

Один из солдат изображает генерала, другой самого себя.



Инсценируется урок словесности.

Генерал солдату:

— Ну, вот, солдатик, послали тебя на фронте в разведку. Ты пошел и обнаружил одного неприятельского солдата. Что же ты будешь делать?

Солдат стоит как истукан и, испуганно моргая ресницами, пожирает глазами начальство.

Генерал.—Ну??? Али язык отнялся?

Солдат.—Так точно, ваше превосходительство.

Генерал.—Что «так точно».

Солдат.—Не могу знать, ваше превосходительство.

Генерал.—Дурак! Что же ты с неприятельским солдатом будешь делать, я тебя спрашиваю?

Солдат.—Не могу знать, ваше превосходительство.

Генерал.—Да ты подумай хорошенько.

Пауза.

Генерал.—Ну, что же с ним делать?

Солдат.—Не могу знать, ваше превосходительство.

Генерал.—Балда! Нужно забрать его в плен. Понял?

Солдат.—Понял, ваше превосходительство.

Генерал.—Ну, хорошо. Идешь ты на разведку в следующий раз и встретил целый полк неприятеля. Что бы ты с ним сделал?

Солдат.—Забрал бы его в плен, ваше превосходительство.

Генерал.—Дубина! Ты на себя взгляни: ну, как же ты один заберешь целый полк? Чучело ты соломенное! Для того, чтобы забрать в плен целый полк, его нужно окружить.

Солдат.—Так точно, ваше превосходительство.



Г е н е р а л.—Дурак! Когда встретишь в разведке целый полк, нужно поспешно ретироваться. Понял?

С о л д а т.—Так точно, ваше превосходительство.

Г е н е р а л.—Ну, а что ты, солдатик, будешь делать, если встретишь в разведке беспризорную корову?

С о л д а т.—Поспешно ретировался бы, ваше превосходительство.

Г е н е р а л.—Дурак! Зачем тебе от коровы ретироваться?

С о л д а т.—Не могу знать, ваше превосходительство.

Г е н е р а л.—Корову нужно приколоть штыком, и из нее выйдет хороший суп для солдат. Понял?

С о л д а т.—Так точно, ваше превосходительство.

Г е н е р а л.—Ну, а ежели бы ты встретил в кустах раненого русского офицера, что бы ты с ним сделал?

С о л д а т.—Я бы его... взял в плен. Поспешно ретировался. Приколол бы его штыком, и из него вышел бы для солдат хороший суп, ваше превосходительство.

Г е н е р а л.—Дурак. Дурак. Дурак.

С о л д а т.—Так точно, ваше превосходительство...

Не совсем складно, но очень верно по существу.

•

Вчера к нам добровольно «перешли в плен» два австрийских поляка. Их допросили в землянке батальонного командира и под конвоем солдата Свиристелкина направили в штаб бригады.

Погода была мерзкая. Свиристелкин пустил обоих пленников в расход.

Я и вольноопределяющийся Воронцов, студент-филолог, сидим в штабе батальонного, просматриваем захваченные



у немцев газеты, делая из них выборки, касающиеся фронта.

Кроме нас, в землянке командир тринадцатой роты—капитан Розанов, командир четырнадцатой роты—штабс-капитан Дымов, командир пятнадцатой—капитан Тер-Петросян и несколько человек младших офицеров.

— Так что при попытке к побегу, вашкородие, — рапортует вошедший Свиристелкин.

Все присутствующие знают, что это явная ложь.

Знает это и Свиристелкин. Он ест бегаящими зрачками начальство и, пристукивая слегка каблуками, глупо улыбается.

В землянке тягучее молчание.

Прапорщики скромно укрыли глазки за щетину ресниц, настороженно ждут, что скажут старшие.

Нервный, горячий Тер-Петросян, тяжело дыша, быстро переводит выпуклые луковичные масляные глаза с батальонного на Свиристелкина и обратно.

Повернувшись к Свиристелкину, батальонный лениво и пренебрежительно цедит:

— Убил?

Свиристелкин, как-будто замечтавшийся о чем-то, странно вздрагивает всем телом и, вытянувшись в струнку, прижав к бедру винтовку, бойко строчит:

— Никак нет, вашкородь.

Лед молчания тает. Офицерские рожи расплываются в улыбках.

— Пошел вон, балда! — кричит с легким раздражением батальонный.

Свиристелкин, скрипя каблуками и гроыхая прикладом, стремительно скользит в темный зев двери.



— Что делать с этим олухом?—зевая, говорит батальонный.

— Под суд, — глухо роняет штабс-капитан Дымов.

Полковник упирается в Дымова насмешливо-прищуренным взглядом, точно спрашивает: «А вы не шутите?»

И, сводя глаза к переносице, опять ленивенько так и сонно:

— Господа, в самом деле, стоит ли подымать шум из-за двух балбесов? Что такое человек? Ничто. А если он ничего, то и убить его не зазорно, не грешно. А дальше: раз я могу убить одного индивида, следовательно, могу убить и роту, полк, корпус, целую нацию. Не так ли? Жестокость в нашем деле совершенно неизбежна. Это всякий из нас понимает.

В синих клубах табачного дыма плохо видны лица офицеров.

Трудно сказать, как они реагируют на эту оригинальную проповедь.

— Значит, мораль вы отрицаете совершенно?—сквозь сухой хрип и кашель спрашивает Тер-Петросян.

Демоническая улыбка кривит пунцовые губы полковника.

— Мораль, господа, хороша... в мирное время.

— Когда я ставлю себе основной целью истребление наибольшего количества врагов, тут никакой морали не требуется. Все ясно. Вот, господа, если у вас когда-нибудь будет подступать к сердцу жалость — помните: мы убийцы по профессии, но убийство ничего особенного не представляет. Вот почему я просто выгнал вон конвоира, пристрелившего порученных ему военнопленных. Сегодня



убиваем мы, завтра убивают нас. В этом нет и не может быть ни принципов, ни морали, ни цели, ни границ. Впрочем, конкретные «цели» и «границы» во всякой войне бывают, но судить об этом уж не нам. Это дело правительств. Мы — солдаты. Технические исполнители.

Наша работа закончена. Мы с Воронцовым, испросив разрешение полковника, покидаем землянку. Хлопает влажный ветер. Небо полощется мокрой тряпкой низко над головой.

Мотаясь впереди меня в ходу сообщения, Воронцов спрашивает:

— Хороша инфузория?

— Это вы насчет батальонного?

— Да.

— Что ж. На своем месте, — рассеянно отвечаю я, преодолевая хаос нахлынувших в землянке мыслей.

— И не глуп ведь, каналья! Правда?

— Ну, пожалуй, большого ума не видно, — возражаю я. — Ему бы в атаманы разбойничьей ватаги. Это в самый раз. В Брянских лесах купцов глушить.

Воронцов возбужденно смеется.

— Правильно! Я тоже согласен.

Мы подходим к своей норе, именуемой землянкой. Куたаясь в шинели, устраиваемся на лежанке, чтобы вздремнуть пару часов.

Воронцов еще раз бормочет:

— А все-таки любопытная инфузория...

Конец его фразы я уже не слышу. Сон уносит меня в сферу иных идей и образов.



Прибыл переведенный из резерва ефрейтор Скоморохов. Он в чем-то пропштафился и за это из третьей линии попал вне очереди в первую.

Рассказывая про условия работы на третьей линии, резко критикует начальство.

— Стоять в резерве — это все равно, что каторгу отбывать. День и ночь роем окопы, ходы, сообщения, лисьи норы. Струмент—плохой, земля—мерзлая. Какая уж тут работа?.. И главное—работа-то эта никому не нужна, никакой от нее пользы. Выдумали генералы эту работу, чтобы, значит, народ мучить.

— Почему вы так думаете?

— Знаю! — упрямо говорит Скоморохов.—Хоть, расскажу я тебе случай? Мотай себе на ус, которого у тебя нет.

Вырыли мы по приказанию начальства в версте от передовой линии окопы. Это «на случай возможного отступления». Чтобы, значит, было местечко, куда приткнуться, если немец попрет вас из первой линии. Хорошо. Наше дело солдатское, подчиненное. Начальство командует, планы составляет, а мы работаем. Вырыли окопчики что надо. Блиндажа, траверсы, землянки, бойницы — все точно как в аптеке. По шнуркам, по компаниям, по вартерпасам отмеряли.

Лесу что извели, камня перетаскали, песку — и не счесть. Тысячи людей работали день и ночь.

Проработали месяц. Кончили. Дело ладно. Ну, думаем, таперчи отдых нам будет, не иначе. Из сил все выбились, хуже каторги.

И что же вы думаете? Приезжают из штаба корпуса окопы эти самые принимать. Осмотрела комиссия окопы,



пофыркала носом и говорит: «Не на том месте вырыты, позицию неудобную выбрали. Нужно еще полверсты отступить и рыть снова».

Сказано слово — закон.

И погнали нас в тот же день другие окопы рыть.

А в комиссии кто? Генерал да аяженер, да полковник Мучиют нашего брата, и больше ничего.

Солдаты слушали рассказ Скоморохова с глубоким вниманием, не прерывая ни звуком.

— И сказать ничего нельзя, — продолжает Скоморохов. — Скажи слово поперек, тронь только кого супротив шерсти — в тот же секунд тебя упекут или на первую линию, или в дисциплинарный батальон, или на каторгу.

— Тебя не за это ли к нам прислали? — спрашивает солдат Вахонин.

— А то как же? За это самое, браток. Ты, дескать, чего шебуршишь, прохвост этакий? Не угодно ли тебе на первую линию, под немецкие пули? Вот и пригнали. Мучают нашего брата ни за што, ни про што.

— Да уж известное дело, — хором вздыхают слушатели, расходясь по своим бойницам.

Ротный четырнадцатой, штабс-капитан Дымов и фельдфебель Табалюк идут поверять участок.

Дымов, попыхивая толстой сигарой, молча пробирается по узкому окопу.

Фельдфебель по обыкновению брюзжит:

— Кыш по местам, анафимы! Чего табунами собираетесь. Только и норовят сбежать от бойницы да барахолить языками. Это вам не толчок, а окопы, хронт.

Какой-то хлопец, запутавшись в предательски длинных полах шинели, спотыкается о ноги фельдфебеля.



Табалюк отвечает ему легкого тумака по загривку.

— Ишшо чего выдумаешь, слепая кикимора!

И сердито косит глазом в сторону оторопевшего солдата.

Вслед уходящему фельдфебелю кто-то шипит:

— Капцей бессмертный! И когда только он спит: день и ночь ходит по окопу. А чего старается? Прямо мало-хольный какой-то.

Другой голос свистящим шопотом поясняет.

— Егория на грудь хотит.

— И получит.

— Известное дело. Такие шкуры завсегда получают.

Разрывая густеющую мглу вечера и шумно чужыркая, летит над окопами лилово-синяя ракета.

Разговоры смолкают.

Стрелки припадают к своим бойницам, лязгают затворами.

Начинается ночная потеха.

Резкая стукотня беспорядочных выстрелов нервными толчками отдается в набухших дремотой мозгах.

\*

В окопах все наоборот.

Ночь и день поменялись ролями.

Ночью мы бодрствуем, а днем спим.

Первое время чрезвычайно трудно приучить себя к такой простой вещи.

Ночью клонит ко сну, днем трещит голова. Да и трудно заснуть в связывающей тело одежде, в сапогах. Когда неделю не разуваешься — сапоги кажутся стопудовыми гириями, их ненавидишь, как злейшего врага.



А распоясываться, когда противник находится в шагах, нельзя.

— Всего можно ожидать, — глубокомысленно изрекает Табалюк. — Ты не смотри, что он молчит. Он, немчура, хитрее чорта. Молчит, молчит, да как кинется в атаку, а мы без порток лежим. Тогда как?

Все помешались на неожиданной атаке. Ее ждут с часу на час. И поэтому неделями нельзя ни раздеваться, ни разуваться.

В геометрической прогрессии размножаются вши.

Это настоящий бич окопной войны.

Нет от них спасения.

Некоторые стрелки не обращают на вшей внимания. Вши безмятежно пасутся в них на поверхности шинели и гимнастерки, в бороде, в бровях.

Другие — я в том числе — ежедневно устраивают ловлю и избиение вшей.

Но это не помогает. Чем больше их бьешь — тем больше они плодятся и неистовствуют. Я расчесал все тело.

Днем мы обедаем и пьем чай.

И то и другое готовят в третьей линии.

Суп и кипяток получаем холодными. Суп в открытых солдатских котелках — один на пять человек — несут гри километра ходами сообщения. Задевают котелками о стенки окопа — в суп сыплются земля и песок.

Суп от этого становится гуще, но не питательнее. Песок хрустит на зубах и оказывает дурное влияние на работу желудка.

Все страдают запором. Горячей пищи мало, едят всухомятку.



Балагур и весельчак Орлик приписывает запор наличию песка в супе и каше.

Охота на вшей, нытье и разговоры — все это повторяется ежедневно и утомляет своим однообразием.

•

Воды из тыла привозят мало.

Берем воду в междуокопной зоне, в ямках, вырытых в болоте.

Но вот уже целую неделю это «водяное» болото держит под обстрелом неприятельский секрет. Он залег в небольшой сопке в полуверсте от наших окопов и не дает набрать ни одного ведра воды.

За неделю у колодца убиты пять человек, ранены три. Командир полка отдал лаконический приказ:

— Секрет снять. В плен не брать ни одного. Всех на месте.

...Ходили снимать.

Командовал нами подпоручик Разумов. Операция прошла вполне удачно.

Закололи без выстрела шесть человек. С нашей стороны потерь нет.

На обратном пути Разумов делится со мной впечатлениями.

— Ловкое обделали дельце, а не радуется что-то, знаете ли... Мысли дрянные в башку набиваются. Хорошо посылать людей на смерть, сидя где-нибудь в штабе, а вести на смерть даже одно отделение трудно. Двадцать человек вверили тебе свои жизни: веди, но не подводи, черт возьми! Ведь каждому конопатому замухрыжке, наверное, жить хочется.



Вон плетется сзади Семен Квашнин. Смотреть не на что. Фамилия несуразная—не человек, а знак вопроса, но ведь жизнь ему не надоела.

У него обязательно где-нибудь остались жена, дети. Ждут его домой. Вздыхают о нем ежедневно. Молятся за него.

Издали это все не так страшно: вблизи ярче и страшнее.

С завизгом проносится серебряная ракета, вычерчивая над головами замысловатую траекторию.

Вслед за ней—другая, третья. Падая на землю, они шипят, как головешки, и подпрыгивают на невидимых ногах.

— Отделение, ложись! — глухо командует Разумов.

Разорванная шеренга немых фигур падает в лишнюю грязь, как пырей, подрезанный мощным взмахом косы.

Чья-то мокрая подметка упирается мне в подбородок. Ракетная свистопляска усиливается.

Противник нащупал нас.

Подпоручик Разумов, лежа рядом со мной, шепчет:

— Влипли, кажется, ребятки! Побежим—постреляют, как страусов. Ну, ничего, спокойно... Дальше нужно ползком. Сейчас поползем.

Четко лязгнула стальными челюстями немецкая батарея.

И один за другим, громыхая в бездонную темь, летят злобно ревущие сгустки железа и меди, сгустки человеческого безумия.

Там, где безобидно шипели, догорая и брызгая каскадом красного бисера, ракеты, взвился крутящийся столб огня, вырвал огромную воронку земли и поднял ее вверх, чтобы потом развеять во мраке.



Кого-то ожгло. Кто-то призывно крикнул. И в этом выкрике была внезапная щемящая боль и тоска по жизни. Этот вскрик — последний вздох брэнного солдатского тела, вздрагивающего в липкой паутине смерти.

— Ползком за мной! — командует Разумов.

Извиваясь змеями, уходим из-под обстрелов в свои окопы.

Первым встречает фельдфебель Табалюк.

— Ну, как, анафемы, все целы?

Подпоручик Разумов мрачно бросает:

— Четверо там остались...

— Немчура, он лютой! — философствует Табалюк. —

Его только тронь. Не рад будешь, что связался. Места пустого не оставит. Все вызвездит. Секрет-то хоть сняли все-таки, ай нет?

— Сняли...

— Ну, слава богу! Марш отдыхать в землянку!..

Страхивая с себя налипшую грязь, заползаем каждый в свое неудобное логово, чтобы забыться на несколько часов в коротком сне.

Пушки противника тарахтят реже, сдержаннее. Снаряды рвутся где-то за второй линией...

Наши батареи не отвечают совсем.

\*

Кузьма Власов, рядовой четвертого взвода, смастерил себе из кусков фанеры и телефонного кабеля оригинальную балалайку.

И когда стихают надоедливые завывания и клекот пуль, Власов заползает с своим «инструментом» во



взводную землянку и, тихо перебирая «звонкие струны», вполголоса напевает вятские частушки — песни своей родины.

В песнях этих, как в зеркале, видна и вятская деревня со всеми ее «внутренностями» и отношение крестьянства к царской службе, к войне.

Ты играй, гармонь моя,  
Покуда не разбитая.  
Эх, гуляй, головушка,  
Покуда не забритая.

Но вот подошло это роковое «бритье», и частушка запечатлела его:

Во приемну завели,  
Во станок поставили,  
Во станок поставили  
Ремешочком смерили.

Ремешочком смерили  
И сказали—приняли.  
Из приемной вышел мальчик,  
Слезоньки закапали,  
Слезоньки закапали,  
Мать-отец заплакали.

Думал, думал—не забреют;  
Думал—мать не заревет,  
Из приемной воротился—  
Мать катается, ревет.

И сын, как может, утешает своих взволнованных родителей:

Вы не плачьте, мать, отец,  
Нас ведь бреют как овец.



У рекрута остается в деревне зазноба-милая. Нужно  
дать директиву.

Ох ты, милочка моя,  
Ты не задавайся.  
Увезут меня в солдаты —  
Ты не увлекайся.

Есть у рекрута любимый конь сивка-бурка. Надо и  
коню сказать на прощание теплое слово.

Покатай-ка, сивушка,  
Меня последню зимушку.  
Тебя, сивку, продадут,  
Меня в солдаты отдадут.

Не забывает деревенская частушка и пейзаж: поля,  
луга, леса и даже улицу.

Ох, забрали мою голову  
Во нынешнем году,  
По тебе, широка улица,  
В последний раз иду.

Когда Власов напевает свои частушки, «земляки»  
молча, сосредоточенно слушают. Лица у всех становятся  
грустными и размягченными.

Иногда балалайку у Власова берет офицерский ден-  
щик — дородный, красивый парень Чубученко. У него  
приятный грудной баритон необыкновенно чистого  
тембра.

Согнувшись на неудобной лежанке в три погибели,  
Чубученко всегда открывает «концерт» своей любимой

И шумит и гудэ  
Дрыбен дождик идэ.  
А хто ж мне, молодую,  
Хто до дому доведэ?



Обизвався козак  
Во зеленим лесу:  
„Гуляй, гуляй, дивчинонька,  
Я до дому доведу“.

Покончив с первой песней, Чубученко начинает дру-  
гую:

Посадила вражка баба  
На три яйца гусака...  
Сама ж вышла на улицу  
Тай вдарила гопака.

И вся землянка разом подхватывает:

Гоп, мои гречаныки.  
Гоп, мои милы,  
Чего ж, мои гречаныки,  
Не скоро поспили...

И «гудит», ходуном ходит мерзлая, сырая, просмолен-  
ная дымом, прокуренная махоркой землянка от лихих  
сдержанных выкриков, от притоптываний просящих  
пляски здоровых застоявшихся ног.

Забыты на несколько минут и холод, и голод, и опас-  
ности...

\*

Пятый день сидим без хлеба.

Офицеры пьют кофе с сахаром, крепкий чай, курят  
английский табак.

Солдаты раскисли совсем. Ходят точно одержимые.  
Все помыслы упираются в хлеб.

Первые два дня я крепился, храбрился и чувствовал  
себя сносно. На третий день меня начало «мутить».  
Вчера и сегодня самочувствие пакостное.



Тошнота, головокружение. В животе временами будто крысы скребут, к сердцу подпирает какая-то тяжесть. Тело утратило упругость и эластичность. Сон прерывистый и тревожный. Температура, кажется, повышенная.

Заключенные в тюрьмах выдерживают голодовки по десять—пятнадцать дней. Но там совсем иное положение. Голодовка в тюрьме — последнее средство борьбы, к ней прибегают лишь в самых исключительных случаях.

У голодающего сознательно и добровольно арестанта есть какая-то цель, есть смысл голодовки.

У нас нет цели. Нет никаких требований. Голодовка наша не имеет смысла. Мы знаем, что вынуждены голодать просто-напросто от нераспорядительности начальства. У нас нет предпосылок для соответствующего подъема духа, для голодного подвижничества, для анабиоза. Голод для нас нестерпим. За четыре дня голодовки окружающие меня люди как-то странно осунулись и постарели на несколько лет.

В эти минуты где-то там, в ярко сверкающем нарядном Петербурге, дамы-патронессы с седыми буклями, почтенные сенаторы, дипломаты, генералы, журналисты и прочая и прочая решают мировые проблемы.

Там, вероятно, водят по карте пухлыми пальцами, спорят о диспозициях и контр-атаках. Решают нашу судьбу...

А нас вот не интересуют ни исход великой кампании, ни диспозиции, ни контр-атаки — нам есть хочется.

Где-то вышал какой-то маленький винтик сложной бюрократической машины, обслуживающей нас, и обречены мы на тяжкие муки голода.



С Власовым и Чубученко конкурирует по части увеселений публики рядовой Симбо, бывший цирковой клоун. Он знает массу интересных фокусов. Например, выливает два котелка воды (котелок — восемь чайных стаканов) и затем устраивает «фонтан»: вода из горла выливается обратно.

Взводный завидует клоуну.

— У нас, на Дальнем Востоке, Симбо, с твоей глоткой огромные деньги нажить можно. Я бы от китайцев через границу ханжу носил. Набрал бы в брюхо четвертухи две и смело через таможеню — ищи!..

Али ба в гости пошел к куму, выпил полведра — и домой, дома вылил обратно в бутылки и продавай. Чудеса, ребятушки!

Ребятюшки бойко смеются и в один голос хвалят емкое клоунское горло.

Власов пытается развенчать талантливое соперника:

— Морока это, братцы, не иначе! Не может брюхо вместить столько воды. Добро бы человек он могутный был. Это гипнотизма, факт! Мне один ученый доктор объяснял. Обтический обман зрения.

Симбо добродушно отшучивается и в сотый раз повторяет свои фокусы.

Когда бьет фонтан, малoverы щупают воду руками, пробуют языком.

— Нет, вода как вода!

— Все натурально!

Иногда взводный пристаёт к клоуну.

— Слышь, Симбо, научи ты меня этому колдовству, сделай милость! Ничего не пожалею.



Клоун звонко смеется.

— Нелзя, господин взводный. Это природное. Я по заказу сделан.

\*

В наши окопы пробрался удравший из немецкого плена рядовой Василисков.

Рассказывает о немцах с восторгом.

— Бяда, хорошо живут, черти.

Окопы у них бетонные, как в горницах: чисто, тепло, светло.

Пишша — что тебе в ресторантах.

У каждого солдата своя миска, две тарелки, серебряная ложка, вилка, нож.

Во флягах дорогие вина. Выпьешь один глоток — кровь по жилам так и заиграет. Примуса для варки супа. Чай не пьют вовсе, только один кофий да какаву.

Кофий нальет в стакан, а на дне кусков пять сахару лежит.

Станешь пить какаву с сахаром — боишься, чтоб язык не проглотить.

— Сладко? — спрашивают заинтересованные солдаты.

— Страсть до чего сладко! — восклицает Василисков. И тут же добавляет: — Игде нам супротив немцев сдюжать. Никогда не сдюжать! Солдат у его сыт, обут, одет, вымыт, и думы у солдата хорошие. У нас что? Никакого порядку нету, народ только мают.

— Чего ж ты удрал от хорошей жизни? — шутят солдаты над Василисковым. — Служил бы немецкому царю. Вот дуралей!

Он недоуменно таращит глаза.



— Как же это можно? Чать я семейный. Баба у мене в деревне, ребятишки, надел на три души имею. Какой это порядок, ежели каждый мужик будет самовольно переходить из одного государства в другое. Они — немцы — сюды, а мы — туды. Все перепутается, на десять лет не разберешь.

\*

В окопах меняются радикально или частично представления о многом.

В Петрограде учили, что «внутренний враг» это те, которые... А на фронте стихийно вырастает в немудром солдатском мозгу совсем другое представление о «внутреннем враге».

В длинные скучные осенние вечера или сидя в землянке под впечатлением адской симфонии полевых и горных пушек мы иногда занимаемся «словесностью».

Кто-нибудь из рядовых явочным порядком присваивает себе звание взводного и задает вопросы.

На вопрос, кто наш внутренний враг, каждый солдат без запинки отвечает:

— Унутренних врагов у нас четыре: штабист, интендант, каптенармус и вошь.

Социалисты, анархисты и всякие другие «исты» — это для большинства солдатской массы — фигуры людей, которые идут против начальства, хотят не того, чего хочет начальство.

А офицер, интендант, каптер и вошь — это повседневность, быт, реальность.

Этих внутренних врагов солдат видит, чувствует, «познает» ежедневно.



Офицеры в первой линии в те же осенние вечера играют в землянках в карты, достают потихоньку через каптеров и вестовых вино, напиваются.

Отношения солдат с офицерами все же лучше тех, что были в Петрограде.

Молодые офицеры «снисходят» даже до того, что пишут неграмотным солдатам письма на родину.

Красивым почерком выводят на грязной бумаге поклоны тятеньке и маменьке.

Но всегда и во всем чувствуется, что солдаты и офицеры это—два разных класса с разными интересами.

\*

Где-то слева третий день надоедливо урчит артиллерия. Напа или немецкая — разобрать трудно.

...Получен неожиданный приказ отступить. Слева, там, где рвутся прапнели и воеет воздух от летящих кусков железа и стали, немцы прорвали фронт. Нам угрожает фланговый удар.

Насиженные окопы жаль покидать. В них знаешь каждый выступ, каждую нору, каждый дефект. К новым опять нужно привыкать.

Немцы, видимо, чувствуют — у них вообще замечательное чутье — наше движение и поливают нас густым свинцовым дождем. К счастью, пули, как всегда, летят выше голов.

Опасаемся лобовой атаки, но ее нет. Противник дал на этот раз маху.

Когда стрелки знают о прорыве фронта, когда получен приказ об отступлении, самая «шутейная» атака противника наводит панику и отступление превращает в бегство.



Неутомимый фельдфебель Табалуек, подоткнув за ремень полы шинели, носится от взвода к взводу. Деловито и радостно покрикивает на солдат сочным тенорком:

— Не отставай, Иванов!

Да не гремите вы котелками, анафемы, не за грибами пошли!..

Не отставай, мать вашу в печонки! В плен захотелось, байструки! За немецкой колбасой соскучились! Он, немчура, угостит. Раскрой только зевало!

Подсумок закрой, Лопатин! Патроны трусятся. Растеряешь все.

Эх, будь вы, анафемы, прокляты. Согрешишь с вами!..

Фельдфебельская ругань, как комья снега, падает на серые шинели и незримо тает в шорохе шагов.

Благополучно отходим.

Случайно раненых несем на носилках из ружей, санитаров ждать некогда.

\*

Не успели обнюхаться на новых позициях — опять, как выражаются солдаты, пятки салом мажем.

Глубокой ночью снимаемся с якоря и торопливо бежим в тыл... на новые места.

Опять слева подозрительно близко ухают немецкие пушки. Где-то, должно быть, опять «прорвали».

Сзади совсем близко надвигаются какие-то странные шорохи и шумы. Тревожные перекрики людей и лошадей.

Вот две батареи нащупали нас и хватили перекрестным огнем.

Низко по земле, выбивая пыль на окопных насыпях, шелестит железный град шрапнели.



Стройно, без перебоев татакают пулеметы.

Синие и желтые отблески взрывов вздрагивают на ребрах шинельных квадратов.

Все кругом трясется, горланит, визжит, ураганится, и кажется—нет выхода из этого загона смерти.

Серые фигуры, отбившиеся от своих взводов и отделений, в ошалелой бестолочи мечутся из одного хода сообщения в другой. Попадают в тупики. С рыком и воем устремляются назад, сбивая друг друга с ног, истощно матюгаясь и славословя.

В темноте наталкиваемся друг на друга, наступаем на ноги, гремим котелками. Хохол Петраченко печально острит.

— Выравниваем хронт!

Над головами в колеблющейся синеве неба жужжат пропеллеры не то наших, не то неприятельских аэропланов. Эти чайки нервнируют солдат и офицеров больше, нежели самая сумасшедшая артиллерийская стрельба.

Может быть, это оттого, что аэропланы еще недавно введены в действие, к ним не привыкли...

Не идем — летим, растянувшись длинной цепью по главному ходу сообщения.

Четвертый взвод нашей роты, оставшийся для прикрытия, стреляет без передышки. Это он втирает очки противнику: старается убедить его, что ничего не случилось.

Выбираемся из хода сообщения на чистое поле.

Утро.

Тихо мерцают над головами потухающие звезды.

В ушах все еще звенит музыка пуль. Опасность минувала. Напряжение спадает.



В узком проходе неожиданно сталкиваюсь с Граве. Он без фуражки.

— Ну, как? Живы?

— Жив.

— Слава богу. А у меня фуражку смахнуло. Половина нашего отделения погибла. Я еле проскочил...

— Не задерживай там! — кричат сзади. — Граве сует мне холодную, облепленную сырой глиной руку и, подхватив котелок, бежит к своему взводу.

Воронцов не отстает от меня ни на шаг. Его острые замечания порой заставляют меня, несмотря на трагическую обстановку, хохотать до колик в животе.

Вдруг он упавшим голосом роняет мне в ухо:

— Беда!

— В чем дело?

Задержавшись на секунду, он показывает мне винтовку. Руки у него трясутся. Затвора нет.

— Потерял? — как-то машинально перехожу с ним на ты.

— Обнаковенно, — пытается он острить.

— Ничего, поправим! — успокаиваю я. — Убьет кого-нибудь, тогда возьмем; молчи, не подавай виду.

— Где убьет? — сокрушенно выдавливают он. — Мы уже вышли из огня. Бой кончился. Упекут меня под суд. С фельдфебелем и так нелады. Он на меня давно зуб точит.

— Плевать! Выкрутимся, дружище!

Вскинув винтовку на ремень и прикрыв ладонью изъясн, Воронцов четко отбивает шаг и снова острит.



Ночью проходили через местечко Остаповичи. Точно по команде, солдаты разбрелись по переулкам и занялись «розысками» съестного.

Наш взвод «добыл» жирного теленка-сосунка, штук десять кур, много картошки, масла, сала.

И здесь во время грабежа жителей местечка я неоднократно слышал ту же фразу, которой оправдывали многие безобразия новобранцы по дороге в Петербург.

— Кровь проливаем! Чего там, бери!

К этому еще добавляли:

— Не мы, так немцы возьмут. На то и война, чтобы брать...

Перед уходом из местечка к ротному тринадцатой роты прибежала растерзанная старуха, напоминающая своим видом героиня мелодраматических пьес, и, всхлипывая, начала жаловаться, что солдаты изнасиловали дочь.

Капитан Розанов спокойно слушает ее, пожимая плечами, и сухо спрашивает:

— Чего же ты хочешь? Денег, что ли, пришла просить за свой позор? Сколько тебе нужно?

Старуха не отвечает.

Худые плечи ее под клетчатым рваным платком конвульсивно передергиваются.

— Сколько лет твоей дочери? Шестнадцать? Так. Ну, хорошо, предположим, соберу я их всех, подлецов, всю роту выстрою и всех заставлю расплачиваться... Ведь ста рублей не соберешь? Так или нет? Под суд кого-то отдать? Можно. Но ведь опять-таки невинность и по суду не воротить... На то и война, бабушка. Выезжать надо было отсюда в тыл. А то все равно не спасешься: не наши сол-



даты, так изнасилуют немцы, которые не сегодня—завтра будут здесь.

Фельдфебель, выстроив тринадцатую роту в полном походном, прицеливается каблуками и берет под козырек:

— Так что, ваше высокоблагородие...

Ротный, повернувшись к старухе спиной, радостно командует:

— На плечо! Слева по отделениям шагом марш!

Гремя котелками, уходили из местечка; нас провожает надрывный плач старухи.

Слез старухи никто не понял: ни ротный, ни солдаты.

Подпоручик Разумов дал мне пачку свежих московских и петербургских газет.

Во всех газетах курьезнейшее описание нашего отступления.

«Части Н-ского корпуса под давлением превосходных сил противника оставили (идет перечисление укрепленных «пунктов» и просто пунктов)... и отошли в полном боевом порядке на заранее приготовленные позиции».

Военный обозреватель пишет еще вразумительнее:

«Н-ский корпус по тактическим и стратегическим соображениям отошел на новые позиции».

Скучнейший вздор! Вранье! Оптимизм, за который хорошо заплачено...

Все эти газетные писаки имеют о «превосходящих» силах противника такое же представление, какое имеют о нем наши штабы, какое имеем мы, бойцы, сидящие в передовой линии. А мы этого противника не только не считали, но почти не видели в глаза. Информация через



посредство шпионов имеет под собой такую же почву, как статистика об абортах и детоубийстве. Всякий шпион врет в зависимости от оплаты его вранья.

Мы не отходили, а просто бежали, как стадо, бежали потому, что не хотели умирать под огнем противника.

Мы остановились в такой местности, где никаких «заранее подготовленных позиций» нет... Спешно возводим укрепления, роем окопы, обливаясь потом.

\*

Весна идет, цветы несет.

Солнце пригревает все жарче и жарче.

Черными лысынами пестрят поля. Пахнет вербой и прелой травой.

Снег посинел и разбух; по утрам он покрывается блестящей ледяной корочкой и так аппетитно хрустит под ногами.

В полдень с брустверов и с размякших стенок на дно окопа стекают ручейки холодной мутной воды, образуя в изломах глубокие лужи.

Местами вода наливается за голенища сапог.

— Лодки заказывать нужно, — шутят солдаты.

Многим выдали вместо сапог какие-то «американские» (с московской «Трубы», вероятно) ботинки наподобие футбольных буг. Ботинки промокают, подметки отваливаются. Солдаты клянут изобретателя ботинок и часто вспоминают мать заведующего снабжением дивизии.

Качество военной обуви действительно ниже всякой критики. Промокшие онучи сушить негде. От них преют и простывают ноги. В холодные ночи онучи пристывают к ногам.



Приделали к котелкам черенки и целый день по очереди отливаем из окопов воду. Работаем до отупения, а вода как-будто издевается над нами: все прибывает и прибывает; из каждой поры земли сочится вода; стенки окопа наливаются пузырями. Фельдфебель в шутку называл эти пузыри слезами Марии Магдалины. Всем понравилось, и название закрепилось.

Ночью заморозок стягивает поры земли, на стенках окопа вырастают изящные гирлянды кристаллических сосулек. Мы бросаем котелки и беремся за винтовку. Открываем оживленную пальбу. Немцы отвечают.

И каждую ночь я себя спрашиваю: какой толк в этой бессмысленной стрельбе?

Но стрелять, очевидно, нужно. Мы разбрасываем еженощно на ветер сотни тысяч патронов, и нас не только за это не ругают, но поощряют.

О нашей идиотской стрельбе в «белый свет» непрерывно пишутся и пересылаются эстафеты, донесения, приказы, сводки, отчеты. В бесчисленных штабах сидят на этом деле сотни людей.

Газеты и журнальчики, обозревая нашу стрельбу, говорят:

«В Н-ском направлении оживленная перестрелка».

Эх, господа почтенные редакторы и журналисты! Если б вы только знали, во что обходится России эта «оживленная перестрелка»? Ведь, наверное, из каждого миллиона выпущенных пуль только одна зацепит немца, да и то ротоzeugа какого-нибудь.

Мысленно перевожу расстрелянные за ночь пули на хлеб, на уголь, на мясо, на одежду, и эта арифметика повергает меня в отчаяннейший пессимизм.



Если так будет продолжаться несколько лет, вся Европа разорится. Россия вылетит в трубу раньше всех. Мы разоряем себя с упорством фанатика.

•

Грунт слабый, с большим процентом примеси песку. Солнце безжалостно разрушает наши окопы. Ежедневно оползни, обвалы стенок. Земля превратилась в тесто, обильно снабженное дрожжами. Удержать ее в повиновении трудно. Наши скрепы и подпорки недостаточны. Нужны бревна, доски, ивовые плетни, сетки.

Леса под рукой нет.

За «деревом» ходим ежедневно в тыл, за двадцать километров. Разбившись на десятки, взваливаем на плечи тяжелое восьмиметровое бревно и, как муравьи, тащим его в свой окоп. Несем эту дьявольскую ношу через непролазную грязь, через темень нахмурившейся ночи, через лужи и ручьи полой воды.

Когда один из носильщиков спотыкается и падает, падают все остальные. Скользкое бревно летит в грязь.

\*

Печать подлеет с каждым днем все больше. Тошно читать бесконечное вранье. В какой номер газеты ни заглянешь, каждый русский воин — альтруист, христианин, герой, а каждый немец — природный громила, варвар, дикарь и зверь.

Для фабрикации «немецких зверств» журнальные мудрецы уже создали своего рода штамп: можно заранее знать, что будет в завтрашнем номере «Нового Времени» или «Биржевки».



В одном из последних журналов какой-то борзописец на протяжении двух страниц расписывает прелести фронтовой бани. Все в порядке. Даже фотографии солдатиков, моющихся в бане.

Солдатики улыбаются, хохочут под освежающими струями воды...

Не баня — салон красоты и гигиены!

А в действительности мы моемся где-нибудь в грязной речонке, в луже, в землянке из котелка и делаем это раз в два—три месяца.

О существовании этих бань ни один солдат ничего не знает; никто этих бань в глаза не видывал.

\*

Сегодня ночью немцы устроили очередную потеху: их артиллерия не давала нам спать. Воздух выл и стонал, как-будто тысячи ведьм сорвались с цепи.

Под утро шальной снаряд упал в дверь землянки первого отделения нашего взвода.

Землянку разбросало. Шесть человек убито, десять ранено.

Раненых подобрали полковые санитары. Убитых мы отнесли в заброшенный боковой ход сообщения, прозванный отростком слепой кишки, и зарыли в песок. Зарыли без молитв, без шуток. Проделали это так же безучастно и спокойно, как таскали бревна и мешки с песком.

Фельдфебель Табалюк, притаптывая свежий холмик на «братской могиле», сухо говорит:

— Смерть схватила их неожиданно, легко... Хорошая смерть! Дай бог всякому из нас так умереть!

Кто-то неожиданно всхлипнул.



О чем? О погибшем безвременно друге? О брате? О завтрашной своей гибели, может быть?

Табалюк не выносит слез. Какой же это, чорт возьми, солдат, защитник веры, царя и отечества, ежели он нюни распустил, как баба! Боевой дух потерял — все потеряно!

— Что, анафемы, разрюмились?! — шипит он в кучку насупившихся стрелков. — Эко дело смерть! Все там будем. От смерти, брат, не отвертишься. Она те найдет везде. Все под одним богом ходим. Бог — он захочет тебе кончину прописать, так и без войны пропишет: ляжешь ночью на печь к бабе и навеки заснешь. Так-то, други милые.

Молча расходятся стрелки, точно боясь разбудить, потревожить. Говорят вполголоса об отошедших на вечный покой.

Из всего отделения уцелел один Голубенко, который лежал в самом дальнем углу землянки, накрывшись шинелью. Видит в этом какое-то чудо.

В момент взрыва в землянке горел ночник, устроенный из консервной банки. Играли в «козла»... И умерли, не доиграв партии...

Весна вступает в свои права. Разбухли почки.

Мягко голубеет бездонное небо. Жарче дышит земля.

На деревьях и кустах кое-где шелушится зеленая бахрома листвы. Спиралями выются звонкие жаворонки, высказывая полное пренебрежение к войне.

Вечером от потеплевшей земли тянется к небу томная дымчатая испарина.



Голосисто заливаются невидимые пичуги. Бугры увалов, виднеющиеся справа взъерошились густой щетиной молодой травы.

Запестрели радуги первых цветов.

В Петербурге теперь белые ночи.

В парках целуются влюбленные парочки.

Солдаты ежедневно толкуют о земле, о весеннем севе.

Тяжело вздыхают, вспоминая свои «осьминники», нераспаханные «клинья», «гоны», «переезды».

Все шибче и шибче ругают военную цензуру, которая месяцами задерживает письма туда и обратно.

В офицерских кругах усиленно дебатруется проблема предстоящей весенней кампании.

Говорят, скоро будет грандиозное наступление.

\*

Наступаем, оказывается, мы. На наш участок стягиваются резервы, кавалерия, боевые припасы. Дым коромыслом.

О наступлении сегодня по секрету сказал мне капитан Розанов, но этот «секрет», кажется, известен многим.

Солдаты «на всякий случай» обмениваются адресами. Каждый оставшийся в живых должен сообщить о своем убитом товарище на родину.

Таков уговор. Его, конечно, выполняют. Когда смолкнет канонада и потрепанные полки вернутся в исходное положение—к той самой печке, от которой начнется танец смерти, тогда приступят к учету оставшихся в живых.

А через день в пензенские, «скопские» и «калуцкие» деревушки поползут скорбные эстафеты с оттисками кровавых пальцев.



...Ко мне подходит стрелок второго отделения Чучкин.

— Запиши-ка ты, слышь, себе мой адресок, а свой мне в подсумок положи.

— Убьют, думаешь, Чучкин?

Он печально улыбается серым бескровным ртом, обнажая клавиатуру сгнивших зубов.

— Кто яво знает, что может случиться. Дело темное, гадательное. На счастье уж надобно надеяться да на господа бога.

Записываю на блок-ноте адрес и спрашиваю, что написать его родным в случае смерти:

— Напиши так: «Сим извещаю вас, что сын ваш, Василей Чучкин, сего числа пал в бою с неприятелем во славу русского оружия и кланяется всем по низкому поклону от бела лица до сырой земли».

Его часто мигающие глазки зорко следят за моей рукой, выводящей кривые иероглифы на клочке бумаги.

Застенчиво раздвигаются обветренные губы:

— А ну-ка прочти, как ты там написал?

— Зачем тебе? Не веришь?

— Нет... Так, вообще. Кто тебе знает, что вписал. Може, ошибся...

\*

Получил очередную посылку: печенье.

Быстро вытряхиваю содержимое.

Ищу на дне прокламацию.

Друзья обещали снабжать меня духовной пищей регулярно.

Да, вот так и есть. Опять ловко замаскированный серенький листочек бумаги, испещренный стройными ря-



дами бунтарских слов. Листовка написана специально к первому мая.

*«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»*

Прошел еще целый год. Правящие классы сделали свое гнусное дело, к которому они так долго готовились: идет десятый месяц небывало кошмарной войны, конца которой все еще не видно.

Военная буря растерзала на части международную организацию рабочих, разметала силы пролетариата по траншеям и крепостям. Революционный голос рабочих придушен.

Уничтожены все свободы, все гражданские права. Новые налоги, дороговизна, безработица, голод, болезни, кровь, смерть...

Революционный голос рабочих на время придушен. Из среды рабочих партий громко раздались голоса противников пролетарской революции, оппортунистов, с влиянием которых настойчиво и умело боролась раньше старая международная организация рабочих (Второй Интернационал).

Оппортунисты зовут рабочих слить на время войны свои силы с силами буржуазии.

Они изменили делу классовой борьбы. Они внесли еще больше расстройств в ряды рабочих.

И ликует патристическая буржуазия, поет гимны национальному единству.

Но не рано ли? Все происходящее неизбежно и неуклонно приводит всю массу рабочих к знанию того, что необходимо теперь же, *не останавливаясь ни перед какими жертвами*, добиться осуществления тех требований,



которые раньше отстаивали только сознательные рабочие. Оставив в лагере буржуазии всех ушедших туда, очистив ряды свои от всех сочувствующих им, пролетариат с невиданной силой снова подымается на борьбу, и из этой борьбы вырастет новая революционная организация рабочих (Третий Интернационал).

Революционное крестьянство и городская беднота, измученные и наученные ужасами войны, пойдут вместе с рабочими.

*Эта гражданская война*, война всех эксплуатируемых со всеми эксплуататорами, при первых же успехах заставит прекратить европейскую войну между государствами.

При своем победоносном завершении она сотрет границы между государствами и создаст одно европейское государство—Европейские Соединенные Штаты.

Созданные революционными и демократическими силами Европейские Соединенные Штаты будут республиканскими и демократическими.

Тогда исчезнет всякая опасность новой европейской войны.

Объединенная и демократически организованная Европа разовьет свои экономические силы, как никогда.

Пролетариат получит материальную и духовную возможность идти к своей конечной цели—к социализму.

Товарищи! Вся текущая жизнь готовит силы для предстоящей гражданской войны. Наша задача — связать, объединить эти силы. Для того мы должны восстановить организацию РСДРП.

Долой войну, затеянную капиталистами! Да здравствует новый революционный пролетарский Интернационал!..



Да здравствует республика и демократические Соединенные Штаты Европы!

Да здравствует первое мая!..

*Организованная группа РСДРП».*

\*

Завтра на рассвете идем в атаку.

Сегодня с утра началась артиллерийская подготовка. Наши глухонемые батареи обрели дар слова и бойко та-рахтят на все лады.

Артиллерийская канонада действует на нервы убийственно. Но когда бухает своя артиллерия, на душе чуть-чуть легче. Солдаты шутят.

— Веселее сидеть в окопе, когда земля ходуном ходит от взрывов...

Немцы подозрительно молчаливы, точно вымерли. Когда противник молчит, в душе невольно нарастает тревога. Немцы, конечно, чувствуют, чем пахнет сегодня в воздухе.

Наши истребители жужжат пропеллерами, пробираясь в сторону противника.

• Нам выдали по триста пятьдесят патронов, по две русских гранаты-«бутылки».

Винтовки у всех вычищены и смазаны, как перед парадом. Ребра штыков отсвечивают мертвенно-холодным лоснящимся блеском.

Отделенные сбились с ног, снаряжая нас. Наполняем баклаги кипяченой водой, пригоняем ранцы, мешки. Все должно быть на своем месте, снаряжение не должно греметь и стеснять движений.



Война это — охота, спорт. Но спор неблагодарный и опасный.

Перед наступлением в окопах глубокая тишина. Такая тишина бывает в тюрьме перед казнью осужденного, если об этом знают все остальные заключенные.

\*

Мы еще ночью местами перерезали свои проволочные заграждения и раздвинули рогатки для выхода в сторону немецких окопов.

В три часа утра, когда смолкли на минуту пушки, переливаясь, прозвенели слова команды.

Выскакиваем из окопов и, беспорядочно толкая друг друга, цепями двигаемся в сторону противника.

Немцы откуда-то издалека обстреливают нас редким «блуждающим» ружейным и пулеметным огнем. Но этот огонь почти не причиняет нам вреда.

Бежим вперед, не останавливаясь и не оглядываясь по сторонам, низко пригибаясь к влажной бахrome росистой травы.

Ворвались в переднюю линию немецких окопов и оцепенели в недоумении: окопы пусты!

Не хотят принимать атаку? Отходят без боя? Эти вопросы вспыхивают в сознании, но отвечать на них некогда. Сзади наседают новые цепи наших резервов.

И от центра к флангам несется энергичная команда:  
— Вперед!!! Вперед!!!

\*

Во второй и в третьей линии неприятельских окопов также ни одного немца.



Легкость победы радостно кружит головы и в то же время путает.

Вопросы, от которых каждый из нас отмахивался в первой линии, в третьей снова встают во весь рост.

Не может быть, чтобы немцы отступили без всякого умысла?

Что у них на уме?

На что рассчитывают?

Но каждый инстинктивно чувствует, что стоит только на секунду остановиться или повернуть назад, как за- таившийся где-то в земляных норах незримый сторожкий противник оскалится тысячами смертей...

Через наши головы непрерывно бухает тяжелая и легкая артиллерия.

Канонада постепенно усиливается.

Одни снаряды дают перелет, другие рвутся над нашими головами.

Бешено ревущая, сверкающая полоса огня и железа точно пологом накрывает поле.

Густая полдневная мгла, содрогаясь от взрывов, шарается огромными воронками, спиралями, водовертью сбивает с ног.

Кроваво-красные зарева взрывов тонут в фонтанах вздыбленной мелкой земли и пыли.

Слова команды, передаваемые по цепи, плывут медленно, они едва слышны. Щеголеватых адъютантов не видно.

Стрелки и вестовые часто перевирают и путают распоряжения начальства. Получаются курьезы, недоразумения.

Да, кажется, никакой команды и не нужно в бою.



Люди стреляют, перебегают, встают, ложатся и меняют положение тела безо всякой команды; руководствуются инстинктом, рассудком.

\*

Кто-то обезумевшим голосом громко и заливисто завопил:

— У-пра-а-ааа!!

И все, казалось, только этого и ждали. Разом все заорали, заглушая ружейную стрельбу. На параде «ура» звучит искусственно, в бою это же «ура» — дикий хаос звуков, звериный вопль.

«Ура» — татарское слово. Это значит — бей! Его занесли к нам, вероятно, полчища Батыя.

В этом истерическом вопле сливается и ненависть к «врагу», и боязнь расстаться с собственной жизнью.

«Ура» при атаке так же необходимо, как хлороформ при сложной операции над телом человека.

\*

За третьей линией немецких окопов живописными изломами змеилась лощина, усеченная зеркальной полосой небольшой речонки. Слева на горизонте выступала огромная каменистая масса гор.

Окрыленные и смущенные мимолетным успехом, выбегая из ходов сообщения в лощину и, потеряв направление, волчком кружимся на месте.

Над головами, невидимые, поют пули. Пляшет желтая земляная пыль.

Одна из наших резервных цепей бьет через нас в предполагаемого противника.



Командиры приводят в порядок цепи, распутывают сбившиеся звенья, отделения, взводы.

— Направление на впереди лежащую горку... — несетя крутая команда. — Справа по звеньям начинай!

...На горке оказались замаскированные немецкие окопы.

Немцы встречают нас густым убийственным огнем. Бьют без промаха. Пристрелка сделана заранее с точностью до двух сантиметров.

Визжит под пулями начиненный огнем и железом воздух. Захватывает дух.

Железный ветер—ветер смерти—дыбит свалывшиеся на потных макушках пучки волос. Сметает, убаюкивает навсегда взвод за взводом.

Один за другим в муках и судорогах падают люди на влажную траву, вгрызаясь зубами в мягкую, дремлющую в весенней истоме землю.

Живые перескакивают через мертвых и бегут, оглашая ревом долину, с ружьями наперевес, с безумным огоньком в глазах.

И опять перемешались все звенья, взводы. Никто не слушает команды.

Методический клекот сотен пулеметов, работающих без перебоев, напоминает работу какой-то большой механической фабрики.

Огонь. Стихия. Хаос. Люди, обезумевшие перед лицом смерти.

Фельдфебель Табалюк, бегая по цепи, охрипшим от натури голосом вопит:



— Патроны береги! Патроны!..

— Не фукай здря!

— Бей только по видимой цели! Могут отрезать от резервов—чем будем отстреливаться, анафимы!

— Пригнись к земле! Пригнись! Земля—она, матушка, не выдаст!

Согнувшись в три погибели и ныряя под пулями, бежит штабс-капитан Дымов. В правой руке поблескивает черный комок нагана.

Грозно кричит на фельдфебеля:

— Не ломай цепь, Табалюк, мать твою! Равнение держи! Почему оторвался от тринадцатой роты?

— Да рази ж их уравниаешь под огнем, анафимов? Чистые бараны, вашесоко...

— Сам ты старая анафима!.. А это чьи люди?

— Тринадцатой роты, вашесоко...

— Что за бардель такой?

— Не могу знать, ваш...

— Где Тер-Петросян?

— Не могу знать, ваш...

Дымов куда-то испаряется.

Часть стрелков — «приспособленные к местности» — уткнувшись головой в кочки, палит в белый свет. Штыки винтовок круто поставлены в небо.

Коршунуном налетает на них Табалюк, колотит пашкой плашмя по спинам, по ногам, по бритым головам.

— Ах вы, анафимы, проклеты!.. Куды стреляете? В Илью-пророка? Переколю всех, едри ваши копалку!

Омытые потоком фельдфебельской ругани, стрелки неохотно поднимаются и бегут вперед.

\*



Цепи катятся, упорно наседая друг на друга и сливаясь, как волны во время прибою.

И как волна, дробясь о подножие горки, разлетаясь в брызги, отскакивают обратно, истекая кровавой пеной. Лава огня и железа испепеляет кричащее людское месиво и вышлевывает, как отработанный пар.

Лощина засерела жирными пятнами трупов. В речушке образовались заторы, мосты из мертвых и раненых. На ряду с мертвыми лезут в воду живые, торопясь ускользнуть от нависшей смерти.

Связь с флангами, которая перед наступлением была детально разработана, оборвалась. Ни телефонов, ни вестовых, ни адъютантов в этой долине смерти, куда твердая рука командующего армией загнала несколько полков.

Впереди—невидимый противник, засевший в утробе неприступной горки.

Горка окутана колючкой, как плющем. Позади три линии пустых неприятельских окопов, которые зря громила в течение суток наша артиллерия, подготавливая нам атаку.

Смерть косила беспорядочно спящих в замкнутом пространстве людей. Роты тают, как воск на сковороде.

Кто-то надсадно, заглушая пулеметную трескотню, крикнул:

— Назад! Отступай, братцы!

Офицер или солдат?

Вопрос или приказание?

Э, да не все ли равно! Впереди явная смерть, позади, может быть, жизнь...

И серо-зеленые людские волны, редая, катятся бесшумно назад. Пьяные от возбуждения, от солнца и крови,



люди грозят кому-то кулаками, изрыгают проклятия, ныряют в окопы, в ходы сообщения, в ямы, куда не доходит горячий свинцовый дождь.

И чтобы легче бежать, бросают скатки шинелей, патронташи, сумки, ранцы, винтовки.

Только бы уйти самим...

\*

Докатались до немецких окопов, что заняли два часа назад.

Вдохнули облегченно.

Еще немножко—и свои родные окопы. Там—отдых, покой, жизнь...

Но до своих окопов триста шагов.

О, эти триста шагов!

Как пробежать их, когда немецкая артиллерия открыла заградительный огонь и на протяжении этих трех сотен шагов в вакхической пляске кружится смерть?! Как перешагнуть это поле, когда на каждом квадратном метре, взметая землю, рвутся гранаты?

А сзади, от горки, уже катятся стройные цепи противника, насадают на хвосты разбитых, истекающих кровью, деморализованных полков. Пулеметы строчат без промаха, без устали...

Испуганно и зло кто-то кричит:

— Кавалерия с фланга! Обходят!

Это явная нелепость.

Что может сделать кавалерия там, где окопы, рогатки, волчьи ямы, ходы сообщения?

Но почему-то никому в голову не приходит этот простой вопрос. Все во мгновение ока поверили в кавалерию,



которая «обходит с фланга», и стремительно ринулись сплошной массой через огневую завесу, через «мертвую зону» к своим окспам, где отдых, покой и жизнь... И огонь поглотил потерявших рассудок людей.

Это был отважный прыжок в жуткую неизвестность. Ставкой была жизнь.

\*

Наступление провалилось на всем участке. Немцы перехитрили наших стратегов.

Пропустив головные и резервные цепи, они открыли заградительный артиллерийский огонь и отрезали наш фронт от тыла.

Это спутало все карты наших генералов, руководивших операцией, и предрешило исход прорыва немецкого фронта, на который возлагали такие огромные надежды.

Казачьи и кавалерийские части, предназначенные для прикрытия флангов и для преследования противника — что противник победит, подразумевалось само собою — вовсе не были пущены в дело.

Кавалерия не успела выехать за нами в прорыв. Огневая завеса противника преградила путь.

Наша рота вернулась в исходное положение в составе пятидесяти человек; двести человек осталось на поле боя. Табалуки как-то уцелели.

В других ротах потери, примерно, такие же.

Перебиты или ранены почти все младшие офицеры.

...Хорошо, что немцы не продолжили свою контратаку. Деморализация у нас полная.

Половина людей вернулась без шинелей, без снаряжения, без винтовок.



Вчера вечером кто-то вполголоса распевал в соседнем взводе:

Как четвертого числа  
Нас нелегкая несла  
Горы занимать,  
Горы занимать.  
Наезжали князья, графы  
И чертили топографы  
На больших листах,  
На больших листах.  
Гладко вышло на бумаге,  
Да забыли про овраги.  
А по ним ходить,  
А по ним ходить.  
На Карпатские высоты  
Нас пришло всего три роты.  
А пошли полки,  
А пошли полки.

\*

Приезжал командир бригады. У него вследствие неудачного наступления разбушевалась астма.

Обходя роты—жалкое подобие рот—в сопровождении командира полка, он злобно размахивает руками перед носом каждого солдата и, задыхаясь, бросает в лицо измученных людей жесткие, обидные слова.

— Беглецы!

Трусы!

Где винтовки? Где амуниция? Все побросали? Своя шкура дороже чести полка, дороже винтовки?

Под суд! Расстреляю в двадцать четыре часа! Присягу забыли!

Ни чести, ни совести, ни мужества!



И это императорская гвардия?!

Сволочи! Сукины!..

Хмуро молчат, подавленные бранью, стрелки.

Останавливается против отдельных солдат и распекает «персонально».

На участке двенадцатой роты триумфальное шествие бригадного наскочило на неподвиженный барьер.

Прапорщик Змиев, глядя в упор генералу, говорит:

— Ваше превосходительство! Люди не виноваты! Я один из немногих офицеров, которые шли в первой цепи наступающих колонн и вернулись обратно через огневую завесу. Стрелки не виноваты...

Серые, безучастные ко всему лица солдат зашевелились, офицеры, поднимаясь на носках, стараются прочесть в генеральских глазах полученное впечатление.

Командир полка что-то шепчет на ухо растерявшемуся от дерзости прапорщика генералу.

Прапорщик Змиев снова раскрывает рот, видимо, собираясь что-то сказать, но генерал обрывает его:

— Как смеете вы, прапорщик, меня учить?! Щенок! Мальчишка! Кадетик!

Фунт солдатской соли не с'ел, а лезет учить старых боевых генералов!

На гауптвахту! В двадцать четыре часа!

В остальные роты генерал после этого инцидента не зашел. Уехал разгневанный.

\*

Перемирие.

Мягко трусит водяной пылью мелкий и назойливый дождь. Серые облака низко нависли над мокрой землей.



Свободно ходим в междукопной зоне и подбираем тела убитых товарищей.

Раненые в ожидании перемирия больше суток пролежали без медицинской помощи, ругаясь и оглашая воздух раздирающими душу стонами.

К ним не смели подойти ни наши, ни немецкие санитары.

Хоронить убитых—тяжелая обязанность.

Хоронить тяжелее, чем идти в атаку на укрепленные позиции противника.

Ни смеха, ни шуток, ни вздохов, ни слез.

Работаем, как автоматы.

Могилы рыть не хочется, да и надобности в этом нет. Трупы сталкиваем в образовавшееся от взрывов снарядов воронки и засыпаем слоем земли. Из воронки получается курган.

Так создавали курганы.

Курганы окрестили «братскими могилами».

На некоторых поставили наскоро сколоченные грубые деревянные кресты.

Кресты торчат сиротливо, как забытые, не к месту поставленные тычинки.

\*

Когда зарывали последние трупы, молоденький, хрупкий как девушка прапорщик Хмара фальшиво что-то запел, по-театральному играя руками.

Все в тревожном недоумении подняли на него глаза. И впродолжении нескольких минут стояло застывшее молчание.

Не знали, что сказать, боялись открыть истину.



Прапорщик Хмара обвел нас остановившимся взглядом мертвых зеленых глаз.

Жутко оскалил белую прорезь сплошных зубов. Сел на свежий могильный холмик из коричневой земли и дробно затывбал по-собачьи голосом молодого гончара, впервые увидевшего лису.

— Мозга с копылков слетела!—сказал кто-то из солдат.

Твердо шагая, подошел незнакомый штабс-капитан.

Нагнулся к прапорщику Хмаре, взял его за бледно-желтую руку.

Что-то спросил. Потом рывком выпрямил стройное тело в песочном сукне и сухо распорядился:

— Санитар! Возьмите господина офицера в околодок. Живо!

Лежа на качающихся носилках, прапорщик Хмара рвет прихватившее его к полотну веревки и жалобно повизгивает, как щенок.

Солдаты с побледневшими лицами провожают взглядом страшные носилки с живым трупом.

\*

Засыпали последний курган. Смыли кровавые следы недавнего безумия. Идем обедать и пить чай, приготовленный поварами из ржавой болотной воды.

Радуетесь тому, что живы, дышим прелым весенним воздухом. Радуетесь беспорочному солнышку, прозрачным янтарно-лиловым облакам, что лениво скользят над нашими головами.

Над третьей линией немецких окопов маячит наш самолет, возвращающийся с разведки. Его обстреливают из



двух орудий. Звенит и тает в синей лазури под облаками шрапнель.

Лежим в зеленой заросли обшарпанных пулями кустов.

Разговор не клеится.

Кто-то просит циркача Симбо:

— Расскажи что-нибудь.

Он долго отнекивается. Потом медленно, с расстановкой декламирует, лежа на спине, как шел на войну король и как шел на войну Стах.

— Это в каком государстве было?—спрашивает увалень Карпухин.

Закрыв широко расставленные глаза, Симбо говорит:

— Эх ты, деревня! Не в государстве, а на земле. Знаешь, есть евангельские притчи о Лазаре, о пяти хлебах и т. д.? Знаешь? Ну, вот эта сказка в роде тех, только поумнее малость, умным человеком составлена для просвещения нас, дураков.

— При чем здесь мы?—недоуменно тянет кто-то из под куста.

— Одиет!—сердито бросает Симбо.

— Стахи—это мы, нижний чин, пупечное мясо, се-  
рая скотина!

Король это—все наше начальство: царь, министры, генералы, адмиралы, губернаторы, архиереи, попы, окологородные, офицеры, земские, становые.

\*

Через неделю, может быть, немцы будут наступать на нас. Мы подстроим им такую же ловушку. И они, такие чистенькие, гладко выбритые, аккуратненькие—хоть сей-



час на парад—устелют своими трупами междуокопную зону. Их раненные заживо будут разлагаться. Будут вопить о помощи в ожидании перемирия, которое наши командиры постараются, елико возможно, оттянуть.

Таков неписанный закон войны.

Сегодня они, завтра мы!

Когда немцы будут хоронить своих «павших» товарищей, мы любезно будем помогать им в этом, как и они нам помогали сегодня. Мы тоже умеем быть «джентльменами», умеем платить «добром» за «добро».

\*

События последних дней как-то придавили меня, и я все еще не могу стряхнуть с себя груз тяжелых впечатлений, навешенных неудачным наступлением.

Говорят: на нашем участке убито пятнадцать тысяч человек.

Пятнадцать тысяч трупов, когда я начинаю о них усиленно думать, превращаются в моем сознании в мясной Монблан.

Но журналисты говорят, что война только начинается. Им, конечно, лучше знать. Они самые компетентные люди в современном обществе. «Оттуда» виднее.

Сколько же еще мясных Монбланов будет воздвигнуто на этих уныло-молчаливых полях сражения?

\*

Пришло пополнение.

Статные, высокие новобранцы зовут нас «дядьками» и «стариками». Мы были в «огне», и это поднимает нас в их глазах на недосягаемую высоту.



Наше неудачное наступление усиленно рекламируется прессой.

По гранкам изолгавшихся вконец газет важно гуляют жирные утки о нашем «беспримерном» героизме, о «многочисленных» силах «тевтонских варваров», брошенных в сделанный нами прорыв. Работают наемные рыцари казенного пера...

Интересно бы взглянуть на немецкие и австрийские газеты за эти дни.

•

В конце мая в Москве полиция организовала вновь немецкий погром.

В Москве пострадало всего шестьсот девяносто два человека: немцев и австрийцев только сто тринадцать; остальные... французы, англичане, бельгийцы, шведы, норвежцы и... русские.

По предварительным подсчетам московских администраторов, во время погрома разбито и разграблено вещей на сумму сорок три миллиона рублей.

Сорок три миллиона...

На эти деньги можно было бы выстроить несколько сот новых школ и больниц.

По слухам, немцы, пострадавшие от погрома, получают возмещение убытков от своего правительства через посредство американского консула в России, который горячо взялся за это дело.

Подданные союзных и нейтральных держав, конечно, получают через своих консулов от русского правительства.



И только русским подданным, пострадавшим от разгула русского же «патриотизма», не с кого получить возмещение убытков.

В России у русских граждан нет консула...

\*

На наш полк отпущено изрядное количество георгиевских крестов.

Нужно кого-то «выделить», кого-то «представить» в герои и кавалеры.

Но как выделять, когда перебит чуть не весь офицерский состав, ходивший с нами в атаку? Как выделять, когда вообще героев не было, геройства не было, когда была просто слепая, стихийная человеческая масса, загипнотизированная дисциплиной?

Правда, когда наступали, то некоторые длинноногие ходоки бежали впереди, обгоняя других. Но где видано, чтобы выдавать за длинные ноги кресты и медали? Да и к тому же длинноногие во время отступления тоже бежали впереди всех и, следовательно, уравнивали себя со всеми коротконогими.

А штаб корпуса не знает — или знать не желает — этой обстановки и требует «героев». От каждого полка, от каждой роты.

Неловко без героев. В других корпусах есть, почему же у нас нет?

Героев давайте!..

Командиры рот проклинали штабную бюрократию, которая там «мудрствует лукаво»; некоторые напряженно морщат загорелые «мужественные» (выражение журналистов и военных корреспондентов) лбы и, издеваясь над